

Г.П. Данилевский

Воля (Беглые воротились)

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д18

Д18 **Данилевский Г.П.**
Воля (Беглые воротились) / Г.П. Данилевский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 168 с.

ISBN 978-5-4241-1842-5

"Воля" - роман Г. П. Данилевского из жизни беглых крепостных - повествует о напряженнейшем периоде русской истории, связанном с реформой 1861 года. Написаны они под свежим впечатлением накаленной атмосферы тех лет. В них бьется многосложная жизнь южнорусской вольницы. Колоритные образы, хорошо построенный острый сюжет, необычайные ситуации делают роман весьма занимательными.

ISBN 978-5-4241-1842-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Г.П. Данилевский, 2021

Григорий Данилевский

Воля (Беглые воротились)

Роман в двух частях

Часть первая

РОДНЫЕ ГНЕЗДА

I

Голубятня

Наступали новые времена. Разнесся слух, что крестьянам, так долго и упорно мечтавшим о свободной жизни, о разных зауральских, закавказских и новороссийских новых местах, хотя бы дать волю.

И вот из разных мест России и из чужих краев, по-видимому без всякой причины, стали в верхние, средние и южные губернии возвращаться беглые помещичьи люди. Это было за год и несколько месяцев до издания положений о воле. Одних помещиков это радовало, другие в недоумении пожимали плечами, не понимая, откуда это взялось и что из этого будет.

Однажды весной, в конце мая, по пути в тот угол на юге за Волгой, который населился в давние времена, с одной стороны, украинскими, а с другой — русскими выходцами, шла кучка людей — два старика и шестеро молодых. Дойдя до каменистых бугров, за которыми уже начинались побережья Волги, они сделали в глухом овражке последний привал, сварили еще раз общую кашницу, закусили и готовились разойтись в разные стороны.

— Пойдем к своим господам, живы ли они? — сказал семидесятилетний седой сапожник, Гриценко, тридцать три года бывший в бродягах в Бессарабии и в Крыму. — Удивятся господа, коли живы, ей-богу!

— Возвращаться, так возвращаться! — прибавил другой старик, Шумейко, восемнадцать лет торговавший в Одессе у какого-то купца квасом по поддельному паспорту. — Шабаш, молодцы! значит пришла пора!

— А как ты, Илюшка, говоришь про мужика? — крикнул опять старый бродяга-сапожник молодому парню, который всю дорогу умудрился вести на поводу невзрачного, хотя молодого, гнедого коня. — Как ты это про мужика-то говоришь? Да брось коня! успеешь еще на него наглядеться.

Черноволосый Илюшка, рослый, кудрявый, хотя несколько мешковатый молодец лет двадцати двух, к которому относились эти слова, молча оправил дорожную котомку на гнедке, погладил его, еще раз оправил, вспрыгнул на него и сказал:

— Вам, дедушка, все смех. А у меня в голове не то... Эх! горе на вас смотреть!

— Да ты про мужика-то скажи, про мужика, Илюк.

— Да что ж сказать? Реши: отчего мужик нынче дешевле стал?

— Не знаю... — старик покотился со смеху.

— Оттого, что глуп! — ответил Илья.

Собеседники громко расхохотались, потом замолчали, разом все перекрестились, встали от еды и пошли одни направо, другие налево. «Эки места-то, места! Вольница тут жила когда-то. И теперь еще куда ни глянешь, дичь и глушь!»

Илья поехал рысцой на один из соседних, с детства знакомых ему холмов, поросший мелким лесом. Солнце село. Он привязал лошадь в кустах, взобрался на дерево, осмотрел еще раз окрестность, как будто припоминая что-то, давно виденное и забытое, и пошел с холма ложиною.

Наутро и в последующие дни некоторые соседние и дальние помещицы дома и сельские конторы были приятно, а может быть, и неприятно изумлены возвратом нескольких беглых бродяг, из которых об иных в родных селах даже исчезла всякая память. Там явились, как с того света, тридцать лет бывший в бродягах Антошка Крамар, кузнец и восемь лет пропадавший без вести повар, Михай Пунька. Явились, бывшие в далеких прогулках, лакеи, плотники, столяры, кучера, ключники, кондитеры и писаря. Иных господа и свои братья, дворовые, стали с горячим любопытством, хоть и ласково, допрашивать: «Где были, у кого служили, чем кормились в это время, что делали?» Но на все был один ответ: «Где были, не помним; у кого служили, не знаем; а жили и кормились, где день, а где ночь — и сутки прочь». — «Что же вы так это вот, с одного маху, взяли да и воротились?» — продолжали допрашивать свободных еще вчера пташек, от которых, так сказать, еще воздухом пахло, ручные по-прежнему, домашние птицы разных клеток тихого русского юго-востока. «Надо же когда-нибудь и честь знать!» — лукаво отвечали прилетные, добровольно воротившиеся пташки.

Новизна переставала быть новизной. Все начинало идти по-старому. Молчаливая барщина одна как бы заметно обновлялась: она насчитывала новых постоянных рабочих.

Илья Танцур между тем, привязав в лесу коня, выломал себе палку и, спустившись в ложино, долго шел чуть видною в сумерках тропинкою. Стало еще темнее. Илья начинал спотыкаться о кочки, о хвост, положенный в виде гатей по болотным перемышкам луговой дороги. Кое-где он разувался и бранился про себя за остановки, потому что стемнело еще более, а он торопился. В воздухе было тихо и мягко. Точно теплым вином пахло. От запаха болотных трав, березовых листьев и фиалок голова хмелела. Илья остановился.

— Волга не Волга, бог весть, что такое белеет вправо! Ах ты, башка моя, глупая башка! В двенадцать лет перезабуть все так, что оглянешься и не узнаешь!

Впереди послышался отдаленный переливистый лай.

— Так и есть, наша Есауловка!

Сердце крепко забилося в груди парня. Он удвоил шаги, пошел еще смелее и, спустя несколько времени, почувствовал, что местность вокруг него изменилась. Впереди чернел будто лес, слева стоял точно ряд мельниц. Он с наслаждением расслышал впотьмах людской говор, отозвавшийся уже недалеко. «Нет, пережду, пока люди уснут! Так-то легче будет к родителям явиться!»

Танцур еще послушал, переждал, огляделся и пошел к деревьям, при мысли: «А! двенадцать лет дома не был! Жив ли батюшка, жива ли матушка? Много ли ребятишек-сверстников в живых осталось на селе? И чем теперь батюшка состоит, в рядовых ли мужиках, или при должности какой? Да и что самое село теперь стало, пока я по свету с ветром маялся да гулял? Ребенком убежал от розог немца-приказчика; никто не защитил меня тогда; отца все голопятым звали; он сам, помню, лямку тер пастухом за овцами; мать все хворая лежала. А теперь я вон какой вытянулся; узнают ли родители меня теперь? Ах ты, свет-свет! Господи!» Илья шагал и шагал...

На пути впотьмах встретила канаву. Илья попробовал ее глубину палкою, перелез, очутился опять в густых деревьях и залег под кустом, потому что невдалеке послышались ему опять отголоски людского говора, а он не знал, куда забрел.

Тихая весенняя ночь переключалась отрывистыми, шепотливыми и неясными звуками. Вскоре, однако, кругом будто стало виднее, хотя небо было еще без месяца. Тихо лежал в кустах Илья, боясь и кашлянуть. Вдруг ему почудились невдалеке, между деревьями, чье-то всхлипыванье, плач и вздохи. Чей-то жалобный голос то затихал, то опять раздавался. Танцур повернулся к той стороне, тихо прополз между деревьями и кустами и поднял кверху голову. Ему почудилось, что вздохи и шепот раздаются где-то вверху, точно над деревьями. Страшно стало Илье: «Что за притча, не то птица стонет по-человечьему, не то человек на ветках где-то сидит!» Он встал и, тихо, как ночной зверь, ступая, обошел вокруг дерева, сверху которого раздавались, по его мнению, в потемках стоны, и вместо живого дерева ощущал гладкий столб. Отошел в сторону, присмотрелся: голубятня, в виде домика, на плотной высокой подпоре. Голос затих.

— Кто тут? — решился спросить вполголоса Илья, осматривая воздушный голубиный терем, с крошечными оконцами, чуть рисовавшийся на сумрачном небе.

Ответа не было.

— Кто тут? отзовись! не бойся!

Танцур прислушивался.

— Я... — прошептал пугливый голосок.

— Да кто ты?

— Фрося...

— Какая?

— Барынина... горничная Фрося...

— Где же это ты сидишь?

Голос опять затих.

— Сидишь где ты? Ну? да говори же!

Илья смотрел вверх.

— В голубятне заперта... А вы кто, позвольте спросить?

— Я-то?

— Да.

— Я так... посторонний.

— Дядюшка, голубчик! освободите меня. А не то, рассветет — пропала я и бедная моя головушка.

Из окошечек воздушной голубятни опять послышались горькие стоны, плач и вздохи.

— Да как освободить-то тебя, чем?

— Лестницы поищите поблизости тут или поодаль; она здесь где-нибудь в саду, ищите.

«Так мы в саду. Что за диковина! Чей же это сад? Наш был не в этой стороне», — подумал Танцур, бросился искать впотьмах лестницу и скоро нашел. Он приставил ее к столбу, взлез туда, посоветовался с необыкновенной пленницей, как поступить, сломал палкой задвижку небольшой дверцы, в которую деревенские повара весной лазят грабить детей воздушного домика, и снес оттуда

на руках дрожавшую от страха, стыда и отчаяния молоденькую горничную.

Она отбежала к садовой канаве, быстро оправилась, хотела бежать далее и остановилась.

— Кто вы? — спросила она, — за кого бога молитесь? Говорите скорее!

Илья подошел и взял ее за руку.

— Зачем вам? Лучше вы сами скажите, кто вы и что за невидаль такая тут случилась с вами?

Девушка потупилась, стала вертеть по земле ногою.

— Надо к барыне-с... Я горничная здесь, коли знаете нашу барыню. Нас много у нее. Поляк-управляющий давно к нам, видите, подбивается. А мы плевать на него. Он и пойдти дозором. Я тут в сад выходила иной раз... не к нему... а к знакомому такому другому человеку... Он нежного, можно сказать, сердца и совсем не такой вовсе подлой души... Выбежала я и сегодня, будто в прачешную... А поляк и наткнулся на нас. Этот-то мой душенька, значит знакомый, убежал от стыда да от страха, а поляк меня, оторопелую дуру, ухватил с дозорными, да и запер тут до утра в голубятню. «Утром, говорит, узнаем, кто такая тут из девичьей со всякою сволочью, с музыкантами соседскими дружбу водит; а теперь не хочу барыни, говорит, будить!» Так и сволокли меня сюда и толкнули в будку... Индо руки все изломали, платье оборвали... Голубей сонных всех спугнули, и долго они, горемычные, кругом меня в тьме-тьмушей этой летали, крыльями мне в лицо веяли... Стала я плакать; хотела крик ко двору подать, пусть бы хоть и барыня уж узнала; страшно так это мне впотьмах стало, как все голубито прочь разлетелись... Я плакать... а тут и вы отозвались... Скажите, кто вы?

— Нет, прежде уж вы мне оповестите: какое это село? Что теперь, барыня у вас, а не барин? Есауловка? — спросил Илья.

— Нет, не Есауловка, а Конский Сырт... Наша барыня — арендаторша!

«Так я не туда попал, — вот что!» — подумал Танцур. Месяц готовился в это время выйти. Кругом стало еще светлее. Илья разглядел миловидное личико, плотно подвязанные вокруг головы косы, белую косынку и полные плечи освобожденной пленницы.

— Мой знакомый, можно сказать, благородный и не такой подлой души человек, как наш приказчик! — сказала Фрося, не двигаясь с места и щипля руками концы косынки, — он по гроб жизни и света не забудет вам этой услуги-с. Но можно ли узнать опять-таки ваше имя?

Фрося подняла глаза и хоть искоса старалась заглянуть в лицо своего освободителя.

— Мне благодарности вашей не надо. А вас бы высекли? скажите мне!

— Ну высечь не высекли бы; а сраму такого набралась бы, что хоть в воду да и утопиться. Так можно ли, опять узнать, как вас зовут?

— Ильёй... а по прозвищу — не знаю и сам, как сказать. Жив ли еще отец мой, про то верно не знаю и не ведаю тоже.

— Вы из Есауловки?

— Оттуда; только двенадцать лет дома не был... Я сын Романа Танцура, коли знаете; он за овцами барскими у нас ходил, помню, как я от управителя с армянами бежал.

— Вам Роман Антоныч папенька-с? — быстро спросила Фрося, и в голосе ее звучало столько удовольствия и вместе желания чем-то особенно радостным

удивить слушателя. — Так вы ничего не знаете? Дорогою по соседству ничего не слышали?

— Ничего не слышал и не знаю, мы торопились и прятались от всех.

— Так, так; теперь помню... Про сына его... про вас точно люди сказывали, да и он сам часто жалел об вас; даже по людям вас долго разыскивали.

— Так что же? говорите!

— Как же! ведь ваш отец теперь главным приказчиком над всею Есауловою! Да, и живет в самом барском доме, под низом; а барин ваш все за границей. Как же, мы это знаем! князь десять лет дома не был. Наехал раз, сменил немца, поставил вашего отца, уехал, да с тех пор и нет его... Теперь пора мне в девичью; все спят; прощайте! Извините...

— Как же я в наше-то село дойду? Темно: до утра бродить буду...

— Я бы вас свела, Илья Романыч, да надо в дом заранее в девичью воротиться... А впрочем, так и быть, пойдемте... Ступайте, только бережнее, тут будет опять канава, а дальше мостик через Лихой. Это у нас речка.

— Так это мы за Лихим?

— Точно-с, эта река в Волгу тут, если помните, подале упала и разделяет Сырт от вашей Есауловки. Мы дружка против дружки живем с вами-с...

— Теперь помню, помню: мы на горе, а вы на долине.

— Так точно! Вот и не ошиблись, именно-с...

— Кто же ваша барыня?

— Ох... сердитая наша барыня, Палагея Андреевна Перебоченская, если еще в те поры вы слышали! Она, должно быть, дончиха. Одни говорят, что хутор, где мы живем, ее имение; а другие, что не ее, а чужое, арендное. Только сказать вам, наша барыня так тут крепко сидит, что в ином и своем так не обживешься. Ох... все ее здесь боятся! Да! Забыла-с еще... С вашим отцом они очень хороши-с... Роман Антонович, ваш отец, у Палагеи Андреевны в силе, завсегда обо всем говорит и нам часто беды наши у нее вымаливает. Да позвольте еще: он дома теперь или нет? Что я это забыла! Дома, или за скотом опять в Черномор поехал? Нет — дома, дома: вчера за сахаром к нам мальчишку своего конторского, Вла-сика, присылал. Он приказчиком теперь у вас, а сперва только за гуртами ездил. Наша барыня тоже гурты держит, на лугах наших их нагуливает. И сама даже в поле скот осматривать на дрожках ездит, даром что старуха. Ах, да! еще скажу вам... Нет!.. лучше после. Мы уж и пришли в вашу Есауловку, — а вот и ваш двор. Видите, дворец-то какой у вашего князя-барина! сам большущий... Я вас славно провела. А теперь и домой мне пора. Прощайте-с! Вон светится внизу окно вашего отца. До свидания-с... По гроб жизни, можно сказать, мой знакомый вам не забудет этого.

Фрося еще что-то сказала издали и исчезла впотьмах. Илья остановился у порога барской конторы, теперешнего отцовского жилища. Чего только не пере-испытал он в эти минуты! Чего только не было теперь на душе его!

«Батюшка в приказчики попал! — думал Илья, стоя у входа под низ дома. — Вот не ждал! Из скотников, из пастухов, из голопятых, как его звали, в приказчики такого села! Тысяча душ, почитай, будет; помню. Шапку, бывало, за версту снимал он, как подходил к барскому дому, а теперь сам тут живет. Жива ли матушка? Я у этой щебетуньи и не спросил. Ну, как-то отец теперь с людьми водит-ся? Ведь он, почитай, сам тогда мне посоветовал в бегах быть, как я на посылках

тут день-деньской у немца маялся, на пинках рос, тычками да слезами сыт ходил и на липке в саду с горя два раза даже повеситься хотел перед тем, как армяне в Крым сманили меня. Приказчик! Не очень же он обрадуется и коню, которого я было ему на хозяйство добыл и привязал пока в лесу!»

Он сошел в коридорчик нижнего яруса дома и стал, замирая от волнения, у дверей. Долго он не решался взяться за скобку, оправил красный пояс на новых шароварах, обдернул синюю чуйку, потоптался на месте высокими новыми сапогами, снял в потемках шапку, пригладил черные кудри, крикнул и хотел войти, но опять остановился.

«Как-то отец теперь примет меня? — подумал Илья, все еще стоя в потемках. — Куда повернет меня? Думал, что отец в бедности... Эх!»

Дверь с шумом растворилась из конторы, а на порог выткнулся рослый, плотный, широколицый и смуглый человек, род мещанина, в нанковом кафтане и в картузе. Он, очевидно, хотел куда-то идти, но, наткнувшись на незнакомого впотьмах, торопливо отшатнулся, взял со стола свечку и спросил:

— Кто это? Что ты тут за человек стоишь впотьмах?

Илья не сразу узнал располневшего отца и тихо, молча ступил в комнату, где худошавая пожилая женщина в ситцевом нарядном платье, спиной к дверям, снимала со стола ужин. Найдя глазами образа, Илья с чувством перекрестился, пока приказчик с удивлением его рассматривал, держа свечу в руках, и упал в ноги отцу.

— Батюшка, не обидьте, благословите меня! Я ваш Илько!

— Илья, Ильюша! — крикнула женщина, убирающая со стола. Она быстро обернулась и, уроня на лавку поднос с посудой, кинулась сыну на шею.

— Илько! — проговорил, в свой черед тронутый и пораженный неожиданностью, приказчик, торопливо ставя свечку на стол. — Вот не ожидал дорогого гостя! А я в обход было шел посмотреть, все ли сторожа на местах! Господи... вот гость! — Роман дрожащими руками снял с гвоздя икону, благословил ею сына, дал ему ее, а потом свою руку поцеловать и заключил: — Ну, полно, жена, вить над ним да обнимать его, теперь пришел, так уж насмотришься, налюбуйешься им! А лучше давай-ка ему поесть; верно, голоден с далекой дорожки. Вздуй огня в печи, яичницу, что ли, ему изготувь, пока мы о деле потолкуем.

Седая Ивановна, утирая радостные слезы, встала, опять кинулась к сыну, посмотрела на него, сняла с него пояс, чуйку, заплакала и тут же засмеялась, качая головою.

— Так, так, Илько; хорошо, что ты воротился. Ей-богу, хорошо! А я-то уж считал, что ты пропал навеки: панихиды по тебе служить собирался, да твоя мать вон все останавливала, говорит: еще подожди, сердце чувствует — жив Илько. А сколько будет лет, как ты в бегах был?

— Двенадцать!..

— Точно, двенадцать, я тогда еще в рядовых, кажется, был. Да... теперь уже десять лет в приказчиках состою. Всем селом заправляю. Ты, верно, слышал, Илько?

— Слышал, — отвечал Илья, рассматривая смуглые, будто из меди вылитые, черты отцовского лица, его черные густые брови, карие глаза и черные с проседью, под гребенку стриженные волосы, курчавые, как и у Ильи.

Рослый широкоплечий стан отца был по-прежнему прямым и крепким, только стал

сильно полнее с той поры, как он с длинною палкою перестал ходить за скотом и, в потертой сермяге стоя в поле, жаловаться на судьбу одному перелетному ветру.

— Много воды утекло с тех пор, как ты в бродяги пошел, Илько... Да наехал барин после тебя. А тут немца сместили, меня наставили. Ну да о том после... Пожалел я тогда, что тебе сам же совет дал и что ты утек. Через разных бродяг о тебе разведки делал, в полицию явки давал. Хорошо, что ты воротился. А было бы еще лучше, кабы воротился прежде. Нужен ты мне был тогда, да и теперь еще более, пожалуй, будешь нужен. Ведь ты грамотный, кажется?

— Выучил тогда пьяный немец... Помните, как бил? Струны проволочные в розги вязывал. Укусом после кропил...

— Так, так. Да давай же, жена, гостю дорогомому поесть скорее! А не выпьем ли мы на радости, Илько, водочки? Пьешь?

— Нет, не пью.

— Ну, так я выпью!

У Ильи в голове все мелькал между тем припасенный отцу на хозяйство конек. Как ничтожен теперь казался ему этот его заветный подарок!

— Ну, а что же ты нажил, сын, на воле-то, столько лет маявшись вдали от отца и матери? — спросил шутливо Роман, стоя у дверей.

— Я-то?

— Да; за двенадцать лет люди сотни, тысячи, умеючи, наживают!

Илья глаз не поднимал. Роман самодовольно посматривал на своего забуддыгу, блудного сына, не обращая внимания на мучительный, болезненно любящий и жалобный взор матери, устремленный на Илью из-за пылающей печки.

— Что греха таить, — сказал Илья, — как стал я подрастать у людей на воле, переходя с места на место да свою неволю былую скрывая, были заработки, были и деньги хорошие. Только рубль-то везде один: больше целкового не ходит. Как нажил, так и прожил — все одно, что и в здешних ваших местах. Были случаи, что и полиции надо было дарить и от своих братьев-душегубов откупаться. Дважды ловили меня, по этапу из города в город пересылали. Тут-то мозолей поношено, тут-то холоду да голоду испытано, вшей да комаров покормлено собою! А господь дал, после опять стал на воле жить, значит, я наживал, я же и проживал. Известное дело, чужая сторонка; как своей-то настоящей, собственной, значит, норки нет, куда и зверек лишний колос на запас тащит...

— Так ты, выходит, теперь к норке родной и направил путь? Дело! Чем же ты теперь желал бы тут быть у барина на селе? Отвечай по душе. Я теперь тут главный: что решу, тому и быть. Говори!..

Илья взглянул на мать.

— Вы, точно, главный тут! — сказал Илья отцу, — вам такая и дорога. А мне, когда милость ваша и вы дадите бродяге тут жить, позвольте... к обществу стать. Землю мне нарежьте; на хозяйство к плугу поставьте меня...

Роман задумался, вышел за дверь. Ивановна кинулась к двери, заперла ее опять на крючок, поцеловала несколько раз сына, посадила его за стол, поставила ему остатки ужина, свежую яичницу, обняла его горячо и оглянулась опять по комнате.

— Ты, сынку, не перечь отцу. Он тебе счастья желает. Должно быть, он тебе ключи сдать затеял; он давно ищет верного себе ключника.

— Эх, матушка, все это так, да земля-то крепче; с земли не стонишь, а от места могут отказать и будешь бобылем. Какие я места имел! А все своя земля к себе тянет! Срубишь этак избенку, заведешься всем... Ну, да мне же это и особо еще нужно...

— Зачем?

Старуха пристально посмотрела в глаза сыну. Он оставил ложку, утерся, перекрестился на иконы, поклонился матери и сел опять.

— Матушка, я нашел себе суженую.

Старуха радостно перекрестилась.

— Слава тебе, господи! Где же ты сыскал ее?

— Слыхала, матушка, про Талаверку?

— Про какого?

— Про Афанасия, что бежал тут по соседству от какой-то барыни двадцать четыре года назад? Он в столырах у нее был тут, в каретниках и в ее хуторе проживал.

— Ох, не помню что-то, сынку, не помню. Так что же?

— Столкнулся я с ним два года назад, в Ростове-на-Дону... Он там уже богачом живет: дом свой, своя мастерская. Ну, и есть у него дочка... Настя... Мы полюбились с нею, отцу сказали. А он и говорит: «Из рассказов твоих, Илько, вижу я, что ты из одних мест со мною; барыни моей ты знать не можешь: мал был, как бежал с Волги сюда в низовые края. И я, говорит, не знаю, жива ли моя госпожа-барыня. А только вот что. Хоть богат я, говорит, теперь, хоть волен, а помереть хотелось бы на родной стороне. Теперь, говорит, готовится всем воля; скоро, не скоро ли, слышно, всем землю дадут, кто по своей воле воротится домой в общества свои к нынешним пока господам. Я мастерства кинуть не могу, а ты иди, получи на своем месте землю, запишись в мир, дай знать, что пристроился, тогда приходи и бери себе Настю...» На этом зароке мы и расстались. Я дал слово землю себе на родном селе добыть, а он выдать за меня Настю; так как же мне идти в дворовые? Подумайте!..

Ивановна задумалась.

Поговорили еще немного. Илья разделся. Мать постлала ему постель на своей кровати у печи. Ложась спать, Илья увидел под скамьей в углу какой-то клубочек. Кто-то во весь нос сопел, свернувшись на полу котенком.

— Кто это? — спросил Илья.

— На посылках у отца сиротка тоже тут один, Власик!

Илья со вздохом лег. «Вот у отца теперь на посылках есть такой же, как я был когда-то у немца!» — подумал он.

Ивановна погасила свечку и тоже легла, вздыхая, на печи. Вскоре пришел с дозора Роман Антоныч; не зажигая свечки и не раздеваясь, лег на лавке у стола и долго лежал, не шелухнувшись, но видно было, что он не спал. Илье же всю ночь грезились вольные степи, таинственные перебродки по лесам и оврагам, гнедко, привязанный в лесу, надежды завестись своим домком и Настя. За час или два до рассвета Илья встал, тихо оделся, тихо отпер двери и вышел. Предутренний воздух был свеж.

«Надежда плохая, — подумал Илья, — теперь вряд ли получишь землю от отца! Или опять уйти на все четыре стороны? всем ветрам в пояс поклониться? Нет, будь, что будет!»

Он вышел на тропинку, по которой провела его с вечера Фрося, взобрался на знакомый с детства соседний бугор и увидел с него сквозь начинавшие яснеть сумерки не в дальнем расстоянии лесок, где привязал гнедка. Роща была оттуда не более как в трех верстах. Он быстро направился туда, вошел в кусты. Овраг был недалеко.

«Ну, гнедко, — подумал Илья, — иди теперь со мной; придется теперь продать тебя либо жиду, либо цыгану. Отец держать тебя не позволит! А я-то думал домком завестись, сад затеять, за Настей поехать на тебе!»

Илья стал звать гнедка, искать его; но след гнедка простыл. Конец ремня от уздечки висел, привязанный к дереву. Гнедко либо убежал, либо кто-нибудь его украл.

«Последнее добро и то пропало! — сказал Илья с досадою. — Пропадай же и ты теперь, моя волюшка»...

Он еще побродил по роще, звал коня, обошел весь лесок кругом, вышел на опушку, на другой высокий бугор, сел, уткнувшись головою в колени, и долго так просидел. Когда он очнулся, светлая картина родимых окрестностей и подступавшего утра тихо открылась перед ним.

Кругом шли то зеленые, пологие, то каменистые, лесами испещренные холмы. Влево расстилалась низменная, влажная луговая равнина, на которой из сумерек выходила усадьба Фросиной барыни. Конский Сырт. Прямо, отделяясь от этой низменности рекой Лихим, на крутом косогоре расстилалась Есауловка. Вправо от Есауловки и Конского Сырта, провожая извивы Лихого к его устью, шли сперва малые, потом более объемистые бугры, то горбатые, то плосковерхие, то остроголовые и избородженные дождевыми протоками. В расщелине их в одном месте мелькнула широкая, белая туманная полоса, точно дым... Сердце Ильи дрогнуло. То была Волга... А за нею уже начала заниматься заря. Одевались огнями голубые вершины. Вместо темных пятен и щелей на холмах выяснились леса. Между ними в отдалении узнавались кое-где вразмет кинутые поселки, бог весть откуда и когда тут севшая жильями, всякая набродная и переходящая вольница. Сизая тяжелая туча, нахлобучившись на низовое Заволжье, еще не пускала на окрестности довольно света. Все еще тонуло в сумерках; нагорные земли по сю сторону Волги и гладкая привольная ширь ее луговой стороны, с ее жирными, тучными и хлебородными залежами и целинами. Тронулся ветер... Отозвались ближние и дальние лесистые овраги и горы, так знакомые Илье, с их местными поволжскими прозвищами. Застонал любовными призывами Иволгин орешник; застучал наполненный шорохами и всякой таинственной, весеннею тревогой развесистый Дятловый липняк; зазвенели серебряными трубами низменные темные Соловьиные верболозы; зазвучали золотою дудкой песчаные Кукушкины кучугуры, засвистели кудрявые Дроздовые березняки, заклепали старые дуплистые громадные дубы на Орлиных лысинах соседних гор. Солнце выбилось, наконец, из-под тучи. Илья встал, прошел несколько шагов и опять остановился. Влево, вдали над Волгой, обрисовался новый ряд бугров. А по ним мелькали, уже будто сквозные и голубые от воздуха, новые бугры и курганы. То были бугры Стеньки Разина. «На них Степан Тимофеич последний свой опочив держал, — говорили в народе, — он тут последним станом стоял; а как его в плен взяли, любимого своего есаула с братией послал селом поблизости сесть; они сели, и вышла из вольной кости нынешняя княжеская Есауловка!» Илья Танцур